

Художники — текст 1 из 2

Сегодня я чувствую себя так, как будто бы гора свалилась с моих плеч.

Счастье было так неожиданно! Долой инженерские погоны, долой инструменты и сметы!

Но не стыдно ли так радоваться смерти бедной тетки только потому, что она оставила наследство, дающее мне возможность бросить службу? Правда, ведь она, умирая, просила меня отдаться вполне моему любимому занятию, и теперь я радуюсь, между прочим, и тому, что исполняю ее горячее желание. Это было вчера... Какую изумленную физиономию сделал наш шеф, когда узнал, что я бросаю службу! А когда я объяснил ему цель, с которой я делаю это, он просто разинул рот.

Из любви к искусству?.. Мм!.. Подавайте прошение.

И не сказал больше ничего, повернулся и ушел. Но мне ничего больше и не было нужно. Я свободен, я художник! Не верх ли это счастья?

Мне захотелось уйти куда-нибудь подальше от людей и от Петербурга; я взял ялик и отправился на взморье. Вода, небо, сверкающий вдали на солнце город, синие леса, окаймляющие берега залива, верхушки мачт на кронштадтском рейде, десятки пролетавших мимо меня пароходов и скользивших парусных кораблей и лайб все показалось мне в новом свете. Все это мое, все это в моей власти, все это я могу схватить, бросить на полотно и поставить перед изумленную силою искусства толпою. Правда, не следовало бы продавать шкуру еще не убитого медведя; ведь пока я еще не бог знает какой великий художник...

Ялик быстро разрезал гладь воды. Яличник, рослый, здоровый и красивый парень в красной рубахе, без устали работал веслами; он то нагибался вперед, то откидывался назад, сильно подвигая лодку при каждом движении. Солнце закатывалось и так эффектно играло на его лице и на красной рубахе, что мне захотелось набросать его красками. Маленький ящик с холстиками, красками и кистями всегда при мне.

Перестань грести, посиди минутку смирно, я тебя напишу, сказал я.

Он бросил весла.

Ты сядь так, будто весла заносишь.

Он взялся за весла, взмахнул ими, как птица крыльями, и так и замер в прекрасной позе. Я быстро набросал карандашом контур и принялся писать. С каким-то особенным радостным чувством я мешал краски. Я знал, что ничто не оторвет меня от них уже всю жизнь.

Яличник скоро начал уставать; его удалое выражение лица сменилось вялым

и скучным. Он стал зевать и один раз даже утер рукавом лицо, для чего ему нужно было наклониться головою к веслу. Складки рубахи совсем пропали. Такая досада! Терпеть не могу, когда натура шевелится.

Сиди, братец, смирнее!

Он усмехнулся.

Чего ты смеешься?

Он конфузливо ухмыльнулся и сказал:

Да чудно, барин!

Чего ж тебе чудно?

Да будто я редкостный какой, что меня писать. Будто картину какую.

Картина и будет, друг любезный.

На что ж она вам?

Для ученья. Вот напишу, напишу маленькие, буду и большие писать.

Большие?

Хоть в три сажени.

Он замолчал и потом серьезно спросил:

Что ж, вы поэтому и образа можете?

Могу и образа; только я пишу картины.

Так.

Он задумался и снова спросил:

На что ж они?

Что такое?

Картины эти...

Конечно, я не стал читать ему лекции о значении искусства, а только сказал, что за эти картины платят хорошие деньги, рублей по тысяче, по две и больше. Яличник был совершенно удовлетворен и больше не заговаривал. Этюд вышел прекрасный (очень красивы эти горячие тоны освещенного заходящим солнцем кумача), и я возвратился домой совершенно счастливым.

Передо мною стоит в натянутом положении старик Тарас, натурщик, которому профессор Н. велел положить рука на галава, потому что это ошен классишеский поза; вокруг меня целая толпа товарищей, так же, как и я, сидящих перед мольбертами с палитрами и кистями в руках. Впереди всех Дедов, хотя и пейзажист, но усердно пишет Тараса. В классе запах красок, масла, терпентина и мертвая тишина. Каждые полчаса Тарасу дается отдых; он садится на край деревянного ящика, служащего ему пьедесталом, и из натуры превращается в обыкновенного голого старика, разминает свои оцепеневшие от долгой неподвижности руки и ноги, обходится без помощи носового платка и прочее. Ученики теснятся около мольбертов, рассматривая работы друг друга. У моего мольберта всегда толпа; я очень способный ученик

академии и подаю огромные надежды сделаться одним из наших корифеев, по счастливому выражению известного художественного критика г. В. С., который уже давно сказал, что из Рябина выйдете толк. Вот отчего все смотрят на мою работу.

Через пять минут все снова усаживаются на места, Тарас влезает на пьедестал, кладет руку на голову, и мы мажем, мажем...

И так каждый день.

Скучно, не правда ли? Да я и сам давно убедился в том, что все это очень скучно. Но как локомотиву с открытой паропроводной трубой предстоит одно из двух: катиться по рельсам до тех пор, пока не истощится пар, или, соскочив с них, превратиться из стройного железно-медного чудовища в груды обломков, так и мне... Я на рельсах; они плотно обхватывают мои колеса, и если я сойду с них, что тогда? Я должен во что бы то ни стало доехать до станции, несмотря на то, что она, эта станция, представляется мне какой-то черной дырой, в которой ничего не разберешь. Другие говорят, что это будет художественная деятельность. Что это нечто художественное спора нет, но что это деятельность...

Когда я хожу по выставке и смотрю на картины, что я вижу в них? Холст, на который наложены краски, расположенные таким образом, что они образуют впечатления, подобные впечатлениям от различных предметов. Люди ходят и удивляются: как это они, краски, так хитро расположены! И больше ничего. Написаны целые книги, целые горы книг об этом предмете; многие из них я читал. Но из Тэнов, Карьеров, Куглеров и всех, писавших об искусстве, до Прудона включительно, не явствует ничего. Они все толкуют о том, какое значение имеет искусство, а в моей голове при чтении их непременно шевелится мысль: если оно имеет его. Я не видел хорошего влияния хорошей картины на человека; зачем же мне верить, что оно есть?

Зачем верить? Верить-то мне нужно, необходимо нужно, но как поверить? Как убедиться в том, что всю свою жизнь не будешь служить исключительно глупому любопытству толпы (и хорошо еще, если только любопытству, а не чему-нибудь иному, возбуждению скверных инстинктов, например) и тщеславию какого-нибудь разбогатевшего желудка на ногах, который не спеша подойдет к моей пережитой, выстраданной, дорогой картине, писанной не кистью и красками, а нервами и кровью, пробурчит: мм... ничего себе, сунет руку в оттопырившийся карман, бросит мне несколько сот рублей и унесет ее от меня. Унесет вместе с волнением, с бессонными ночами, с огорчениями и радостями, с обольщениями и разочарованиями. И снова ходишь одинокий среди толпы. Машинально рисуешь натурщика вечером, машинально пишешь его утром, возбуждая удивление профессоров и товарищей быстрыми успехами. Зачем делаешь все это, куда идешь?

Вот уже четыре месяца прошло с тех пор, как я продал свою последнюю картинку, а у меня еще нет никакой мысли для новой. Если бы выплыло что-нибудь в голове, хорошо было бы... Несколько времени полного забвения: ушел бы в картину, как в монастырь, думал бы только о ней одной. Вопросы: куда? зачем? во время работы исчезают; в голове одна мысль, одна цель, и приведение ее в исполнение доставляет наслаждение. Картина мир, в котором живешь и перед которым отвечаешь. Здесь исчезает житейская нравственность: ты создаешь себе новую в своем новом мире и в нем чувствуешь свою правоту, достоинство или ничтожество и ложь по-своему, независимо от жизни.

Но писать всегда нельзя. Вечером, когда сумерки прервут работу, вернешься в жизнь и снова слышишь вечный вопрос: зачем?, не дающий уснуть, заставляющий ворочаться на постели в жару, смотреть в темноту, как будто бы где-нибудь в ней написан ответ. И засыпаешь под утро мертвым сном, чтобы, проснувшись, снова опуститься в другой мир сна, в котором живут только выходящие из тебя самого образы, складывающиеся и проясняющиеся перед тобою на полотне.

Что вы не работаете, Рябинин? громко спросил меня сосед.

Я так задумался, что вздрогнул, когда услышал этот вопрос. Рука с палитрой опустилась; пола сюртука попала в краски и вся вымазалась; кисти лежали на полу. Я взглянул на этюд; он был кончен, и хорошо кончен: Тарас стоял на полотне как живой.

Я кончил, ответил я соседу.

Кончился и класс. Натурщик сошел с ящика и одевался; все, шумя, собирали свои принадлежности. Поднялся говор. Подошли ко мне, похвалили.

Медаль, медаль... Лучший этюд, говорили некоторые. Другие молчали: художники не любят хвалить друг друга.

Кажется мне, я пользуюсь между моими товарищами-учениками уважением. Конечно, не без того, чтобы на это не оказывал влияния мой, сравнительно с ними, солидный возраст: во всей академии один только Вольский старше меня. Да, искусство обладает удивительной притягательной силой! Этот Вольский отставной офицер, господин лет сорока пяти, с совершенно седой головой; поступить в таких летах в академию, снова начать учиться разве это не подвиг? Но он упорно работает: летом с утра до вечера пишет этюды во всякую погоду, с каким-то самоотвержением; зимою, когда светло, постоянно пишет, а вечером рисует. В два года он сделал большие успехи, несмотря на то, что судьба не наградила его особенно большим талантом.

Вот Рябинин другое дело: чертовски талантливая натура, но зато лентяй

ужасный. Я не думаю, чтобы из него вышло что-нибудь серьезное, хотя все молодые художники его поклонники. Особенно мне кажется странным его пристрастие к так называемым реальным сюжетам: пишет лапти, онучи и полушубки, как будто бы мы не довольно насмотрелись на них в натуре. А что главное, он почти не работает. Иногда засядет и в месяц окончит картинку, о которой вес кричат, как о чуде, находя, впрочем, что техника оставляет желать лучшего (по-моему, техника у него очень и очень слаба); а потом бросит писать даже этюды, ходит мрачный и ни с кем не заговаривает, даже со мной, хотя, кажется, от меня он удаляется меньше, чем от других товарищей. Станный юноша! Удивительными мне кажутся эти люди, не могущие найти полного удовлетворения в искусстве. Не могут они попятить, что ничто так не возвышает человека, как творчество.

Вчера я кончил картину, выставил, и сегодня уже спрашивали о цене. Дешевле 300 не отдам. Давали уже 250. Я такого мнения, что никогда не следует отступать от раз назначенной цены. Это доставляет уважение. А теперь тем более не уступлю, что картина наверно продается; сюжет из ходких и симпатичный: зима, закат; черные стволы на первом плане резко выделяются на красном зареве. Так пишет К., и как они идут у него! В одну эту зиму, говорят, до двадцати тысяч заработал. Недурно! Жить можно. Не понимаю, как это ухитряются бедствовать некоторые художники. Вот у К. ни один холстик даром не пропадает: все продается. Нужно только прямее относиться к делу; пока ты пишешь картину ты художник, творец; написана она ты торгаш; и чем ловче ты будешь вести дело, тем лучше. Публика часто тоже норовит надуть нашего брата.

Я живу в пятнадцатой линии на Среднем проспекте и четыре раза в день прохожу по набережной, где пристают иностранные пароходы. Я люблю это место за его пестроту, оживление, толкотню и шум и за то, что оно дало мне много материала. Здесь, смотря на поденщиков, таскающих кули, вертящих ворота и лебедки, возящих тележки со всякой кладью, я научился рисовать трудящегося человека.

Я шел домой с Дедовым, пейзажистом... Добрый и невинный, как сам пейзаж, человек и страстно влюблен в свое искусство. Вот для него так уж нет никаких сомнений; пишет, что видит: увидит реку и пишет реку, увидит болото с осокою и пишет болото с осокою. Зачем ему эта река и это болото? он никогда не задумывается. Он, кажется, образованный человек; по крайней мере кончил курс инженером. Службу бросил, благо явилось какое-то наследство, дающее ему возможность существовать без труда. Теперь он пишет и пишет: летом сидит с утра до вечера на поле или в лесу за этюдами, зимой без устали komponует закаты, восходы, полдни, начала и концы дождя, зимы, весны и

прочее. Инженерство свое забыл и не жалеет об этом. Только когда мы проходим мимо пристани, он часто объясняет мне значение огромных чугунных и стальных масс: частей машин, котлов и разных разностей, выгруженных с парохода на берег.

Посмотрите, какой котлище притащили, сказал он мне вчера, ударив тростью в звонкий котел.

Неужели у нас не умеют их делать? спросил я.

Делают и у нас, да мало, не хватает. Видите, какую кучу привезли. И скверная работа; придется здесь чинить: видите, шов расходится? Вот тут тоже заклепки расшатались. Знаете ли, как эта штука делается? Это, я вам скажу, адская работа. Человек садится в котел и держит заклепку изнутри клещами, что есть силы напирая на них грудью, а снаружи мастер колотит по заклепке молотом и выделывает вот такую шляпку.

Он показал мне на длинный ряд выпуклых металлических кружков, идущих по шву котла.

Дедов, ведь это все равно, что по груди бить!

Все равно. Я раз попробовал было забраться в котел, так после четырех заклепок еле выбрался. Совсем разбило грудь. А эти как-то ухитряются привыкать. Правда, и мрут они как мухи: год-два вынесет, а потом если и жив, то редко куда-нибудь годен. Извольте-ка целый день выносить грудью удары здорового молота, да еще в котле, в духоте, согнувшись в три погибели. Зимой железо мерзнет, холод, а он сидит или лежит на железе. Вон в том котле видите, красный, узкий так и сидеть нельзя: лежи на боку да подставляй грудь. Трудная работа этим глухарям.

Глухарям?

Ну да, рабочие их так прозвали. От этого трезвона они часто глохнут. И вы думаете, много они получают за такую каторжную работу? Гроши! Потому что тут ни навыка, ни искусства не требуется, а только мясо... Сколько тяжелых впечатлений на всех этих заводах, Рябинин, если бы вы знали! Я так рад, что разделался с ними навсегда. Просто жить тяжело было сначала, смотря на эти страдания... То ли дело с природою. Она не обижает, да и ее не нужно обижать, чтобы эксплуатировать ее, как мы, художники... Поглядите-ка, поглядите, каков сероватый тон! вдруг перебил он сам себя, показывая на уголок неба. Пониже, вон там, под облачком... прелесть! С зеленоватым оттенком. Ведь вот напиши так, ну точно так не поверят! А ведь недурно, а? Я выразил свое одобрение, хотя, по правде сказать, не видел никакой прелести в грязно-зеленом клочке петербургского неба, и перебил Дедова, начавшего восхищаться еще каким-то тонком около другого облачка.

Скажите мне, где можно посмотреть такого глухаря?

Поедемте вместе на завод; я вам покажу всякую штуку. Если хотите, даже

завтра! Да уж не вздумалось ли вам писать этого глухаря? Бросьте, не стоит. Неужели нет ничего повеселее? А на завод, если хотите, хоть завтра. Сегодня мы поехали на завод и осмотрели все. Видели и глухаря. Он сидел, согнувшись в комок, в углу котла и подставлял свою грудь под удары молота. Я смотрел на него полчаса; в эти полчаса молот поднялся и опустился сотни раз. Глухарь корчился. Я его напишу.

Рябинин выдумал такую глупость, что я не знаю, что о нем и думать. Третьего дня я возил его на металлический завод; мы провели там целый день, осмотрели все, причем я объяснял ему всякие производства (к удивлению моему, я забыл очень немного из своей профессии); наконец я привел его в котельное отделение. Там в это время работали над огромнейшим котлом. Рябинин влез в котел и полчаса смотрел, как работник держит заклепки клещами. Вылез оттуда бледный и расстроенный; всю дорогу назад молчал. А сегодня объявляет мне, что уже начал писать этого рабочего-глухаря. Что за идея! Что за поэзия в грязи! Здесь я могу сказать, никого и ничего не стесняясь, то, чего, конечно, не сказал бы при всех: по-моему, вся эта мужичья полоса в искусстве чистое уродство. Кому нужны эти пресловутые репинские Бурлаки? Написаны они прекрасно, нет спора; но ведь и только. Где здесь красота, гармония, изящное? А не для воспроизведения ли изящного в природе и существует искусство?

То ли дело у меня! Еще несколько дней работы, и будет копчено мое тихое Майское утро. Чуть колышется вода в пруде, ивы склонили на него свои ветви; восток загорается; мелкие перистые облачка окрасились в розовый цвет. Женская фигурка идет с крутого берега с ведром за водой, спугивая стаю уток. Вот и все; кажется, просто, а между тем я ясно чувствую, что поэзии в картине вышло пропасть. Вот это искусство! Оно настраивает человека на тихую, кроткую задумчивость, смягчает душу. А рябининский Глухарь ни на кого не подействует уже потому, что всякий постарается поскорей убежать от него, чтобы только не мозолить себе глаза этими безобразными тряпками и этой грязной рожей. Странное дело! Ведь вот в музыке не допускаются режущие ухо, неприятные созвучия; отчего ж у нас, в живописи, можно воспроизводить положительно безобразные, отталкивающие образы? Нужно поговорить об этом с Л., он напишет статейку и кстати прокатит Рябинина за его картину. И стоит.

Уже две недели, как я перестал ходить в академию: сижу дома и пишу. Работа совершенно измучила меня, хотя идет успешно. Следовало бы сказать не хотя, а тем более, что идет успешно. Чем ближе она подвигается к концу, тем все страшнее и страшнее кажется мне то, что я написал. И кажется мне еще, что это моя последняя картина.

Вот он сидит передо мной в темном углу котла, скорчившийся в три погибели, одетый в лохмотья, задыхающийся от усталости человек. Его совсем не было бы видно, если бы не свет, проходящий сквозь круглые дыры, просверленные для заклепок. Кружки этого света пестрят его одежду и лицо, светятся золотыми пятнами на его лохмотьях, на включенной и закопченной бороде и волосах, на багрово-красном лице, по которому струится пот, смешанный с грязью, на жилистых надорванных руках и на измученной широкой и впалой груди. Постоянно повторяющийся страшный удар обрушивается на котел и заставляет несчастного глухаря напрягать все свои силы, чтобы удержаться в своей невероятной позе. Насколько можно было выразить это напряженное усилие, я выразил.

Иногда я кладу палитру и кисти и усаживаюсь подальше от картины, прямо против нее. Я доволен ею; ничто мне так не удавалось, как эта ужасная вещь. Беда только в том, что это довольство не ласкает меня, а мучит. Это не написанная картина, это созревшая болезнь. Чем она разрешится, я не знаю, но чувствую, что после этой картины мне нечего уже будет писать.

Птицеловы, рыболовы, охотники со всякими экспрессиями и типичнейшими физиономиями, вся эта богатая область жанра на что мне теперь она? Я ничем уже не подействую так, как этим глухарем, если только подействую... Сделал опыт: позвал Дедова и показал ему картину. Он сказал только: ну, батенька, и развел руками. Уселся, смотрел полчаса, потом молча простился и ушел. Кажется, подействовало... Но ведь он все-таки художник.

И я сижу перед своей картиной, и на меня она действует. Смотришь и не можешь оторваться, чувствуешь за эту измученную фигуру. Иногда мне даже слышатся удары молота... Я от него сойду с ума. Нужно его повесить.

Полотно покрыло мольберт с картиной, а я все сижу перед ним, думая все о том же неопределенном и страшном, что так мучит меня. Солнце заходит и бросает косую желтую полосу света сквозь пыльные стекла на мольберт, завешенный холстом. Точно человеческая фигура. Точно Дух Земли в Фаусте, как его изображают немецкие актеры.

...Wer ruft mich?1

Кто позвал тебя? Я, я сам создал тебя здесь. Я вызвал тебя, только не из какой-нибудь сферы, а из душного, темного котла, чтобы ты ужаснул своим видом эту чистую, прилизанную, ненавистную толпу. Приди, силою моей власти прикованный к полотну, смотри с него на эти фраки и трены, крикни им: я язва растущая! Ударь их в сердце, лиши их сна, стань перед их глазами призраком! Убей их спокойствие, как ты убил мое...

Да, как бы не так!.. Картина кончена, вставлена в золотую раму, два сторожа потащат ее на головах в академию на выставку. И вот она стоит среди полдней

и закатов, рядом с девочкой с кошкой, недалеко от какого-нибудь трехсаженного Иоанна Грозного, вонзающего посох в ногу Васьки Шибанова. Нельзя сказать, чтобы на нее не смотрели; будут смотреть и даже хвалить. Художники начнут разбирать рисунок. Рецензенты, прислушиваясь к ним, будут черкать карандашиками в своих записных книжках. Один г. В. С. выше заимствований; он смотрит, одобряет, превозносит, пожимает мне руку. Художественный критик Л. с яростью набросится на бедного глухаря, будет кричать: но где же тут изящное, скажите, где тут изящное? И разругает меня на все корки. Публика... Публика проходит мимо бесстрастно или с неприятной гримасой; дамы те только скажут: ah, comme il est laid, се глухарь², и проплывут к следующей картине, к девочке с кошкой, смотря на которую скажут: очень, очень мило или что-нибудь подобное. Солидные господа с бычьими глазами поглазеют, потупят взоры в каталог, испустят не то мычание, не то сопенье и благополучно проследуют далее. И разве только какой-нибудь юноша или молодая девушка остановятся со вниманием и прочтут в измученных глазах, страдальчески смотрящих с полотна, вопль, вложенный мною в них...

Ну, а дальше? Картина выставлена, куплена и увезена. Что ж будет со мною? То, что я пережил в последние дни, погибнет ли бесследно? Кончится ли все только одним волнением, после которого наступит отдых с исканием невинных сюжетов?... Невинные сюжеты! Вдруг вспомнилось мне, как один знакомый хранитель галереи, составляя каталог, кричал писцу:

Мартынов, пиши! № 112. Первая любовная сцена: девушка срывает розу.

Мартынов, еще пиши! № 113. Вторая любовная сцена: девушка нюхает розу.

Буду ли я по-прежнему нюхать розу? Или сойду с рельсов?

Кто зовет меня? (нем.)²

Ах, как он уродлив, этот... (франц.)

Рябинин почти кончил своего Глухаря и сегодня позвал меня посмотреть. Я шел к нему с предвзятым мнением и, нужно сказать, должен был изменить его. Очень сильное впечатление. Рисунок прекрасный. Лепка рельефная. Лучше всего это фантастическое и в то же время высоко истинное освещение. Картина, без сомнения, была бы с достоинствами, если бы только не этот странный и дикий сюжет. Л. совершенно согласен со мною, и на будущей неделе в газете появится его статья. Посмотрим, что скажет тогда Рябинин. Л у, конечно, будет трудно разобрать его картину со стороны техники, но он сумеет коснуться ее значения как произведения искусства, которое не терпит, чтобы его низводили до служения каким-то низким и туманным идеям. Сегодня Л. был у меня. Очень хвалил. Сделал несколько замечаний относительно разных мелочей, но в общем очень хвалил. Если бы профессора

взглянули на мою картину его глазами! Неужели я не получу наконец того, к чему стремится каждый ученик академии, золотой медали? Медаль, четыре года жизни за границей, да еще на казенный счет, впереди профессура... Нет, я не ошибся, бросив эту печальную будничную работу, грязную работу, где на каждом шагу натыкаешься на какого-нибудь рябининского глухаря.

Картина продана и увезена в Москву. Я получил за нее деньги и, по требованию товарищей, должен был устроить им увеселение в Вене. Не знаю, с каких пор это повелось, но почти все пирушки молодых художников происходят в угольном кабинете этой гостиницы. Кабинет этот большая высокая комната с люстрой, с бронзовыми канделябрами, с коврами и мебелью, почерневшими от времени и табачного дыма, с роялем, много потрудившимся на своем веку под разгулявшимися пальцами импровизированных пианистов; одно только огромное зеркало ново, потому что оно переменяется дважды или трижды в год, всякий раз, как вместо художников в угольном кабинете кутят купчики.

Собралась целая куча народа: жанристы, пейзажисты и скульпторы, два рецензента из каких-то маленьких газет, несколько посторонних лиц. Начали пить и разговаривать. Через полчаса все уже говорили разом, потому что все были навеселе. И я тоже. Помню, что меня качали и я говорил речь. Потом целовался с рецензентом и пил с ним брудершафт. Пили, говорили и целовались много и разошлись по домам в четыре часа утра. Кажется, двое расположились на ночлег в том же угольном номере гостиницы Вена.

Я едва добрался домой и нераздетый бросился на постель, причем испытал что-то вроде качки на корабле: казалось, что комната качается и кружится вместе с постелью и со мною. Это продолжалось минуты две; потом я уснул. Уснул, спал и проснулся очень поздно. Голова болит; в тело точно свинцу налили. Я долго не могу раскрыть глаз, а когда раскрываю их, то вижу мольберт пустой, без картины. Он напоминает мне о пережитых днях, и вот все снова, сначала... Ах, боже мой, да надо же это кончить!

Голова болит больше и больше, туман наплывает на меня. Я засыпаю, просыпаюсь и снова засыпаю. И я не знаю, мертвая ли тишина вокруг меня или оглушительный шум, хаос звуков, необыкновенный, страшный для уха. Может быть, это и тишина, но в ней что-то звонит и стучит, вертится и летает. Точно огромный тысячесильный насос, выкачивающий воду из бездонной пропасти, качается и шумит, и слышатся глухие раскаты падающей воды и удары машины. И над всем этим одна нота, бесконечная, тянущаяся, томящая. И мне хочется открыть глаза, встать, подойти к окну, раскрыть его, услышать живые звуки, человеческий голос, стук дрожек, собачий лай и избавиться от этого вечного гама.

Но сил нет. Я вчера был пьян. И я должен лежать и слушать, слушать без конца.

И я просыпаюсь и снова засыпаю. Снова стучит и гремит и где-то резче, ближе и определеннее. Удары приближаются и бьют вместе с моим пульсом. Во мне они, в моей голове, или вне меня? Звонко, резко, четко... раз-два, раз-два... Бьет по металлу и еще по чему-то. Я слышу ясно удары по чугуну; чугун гудит и дрожит. Молот сначала тупо звякает, как будто падает в вязкую массу, а потом бьет звонче и звонче, и наконец, как колокол, гудит огромный котел. Потом остановка, потом снова тихо; громче и громче, и опять нестерпимый, оглушительный звон. Да, это так: сначала бьют по вязкому, раскаленному железу, а потом оно застывает. И котел гудит, когда головка заклепки уже затвердела. Понял. Но те, другие звуки... Что это такое? Я стараюсь понять, что это такое, но дымка застилает мне мозг. Кажется, что так легко припомнить, так и вертится в голове, мучительно близко вертится, а что именно не знаю. Никак не схватить... Пусть стучит, оставим это. Я знаю, но только не помню.

И шум увеличивается и уменьшается, то разрастаясь до мучительно чудовищных размеров, то будто бы совсем исчезая. И кажется мне, что не он исчезает, а я сам в это время исчезаю куда-то, не слышу ничего, не могу шевельнуть пальцем, поднять веки, крикнуть. Оцепенение держит меня, и ужас охватывает меня, и я просыпаюсь весь в жару. Просыпаюсь не совсем, а в какой-то другой сон. Чудится мне, что я опять на заводе, только не на том, где был с Дедовым. Этот гораздо громаднее и мрачнее. Со всех сторон гигантские печи чудной, невиданной формы. Снопами вылетает из них пламя и коптит крышу и стены здания, уже давно черные, как уголь. Машины качаются и визжат, и я едва прохожу между вертящимися колесами и бегущими и дрожащими ремнями; нигде ни души. Где-то стук и грохот: там-то идет работа. Там неистовый крик и неистовые удары; мне страшно идти туда, но меня подхватывает и несет, и удары все громче, и крики страшнее. И вот все сливается в рев, и я вижу... Вижу: странное, безобразное существо корчится на земле от ударов, сыплющихся на него со всех сторон. Целая толпа бьет, кто чем попало. Тут все мои знакомые с остервенелыми лицами колотят молотами, ломami, палками, кулаками это существо, которому я не прибрал названия. Я знаю, что это все он же... Я кидаюсь вперед, хочу крикнуть: перестаньте! за что? и вдруг вижу бледное, искаженное, необыкновенно страшное лицо, страшное потому, что это мое собственное лицо. Я вижу, как я сам, другой я сам, замахивается молотом, чтобы нанести неистовый удар. Тогда молот опустил на мой череп. Все исчезло; некоторое время я сознавал еще мрак, тишину, пустоту и неподвижность, а скоро и сам исчез куда-то...

Рябинин лежал в совершенном беспамятстве до самого вечера. Наконец хозяйка-чухонка, вспомнив, что жилец сегодня не выходил из комнаты, догадалась войти к нему и, увидев бедного юношу, разметавшегося в сильнейшем жару и бормотавшего всякую чепуху, испугалась, испустила какое-то восклицание на своем непонятном диалекте и послала девочку за доктором. Доктор приехал, посмотрел, пощупал, послушал, помычал, присел к столу и, прописав рецепт, уехал, а Рябинин продолжал бредить и метаться.

Бедняга Рябинин заболел после вчерашнего кутежа. Я заходил к нему и застал его лежащим без памяти. Хозяйка ухаживает за ним. Я должен был дать ей денег, потому что в столе у Рябинина не оказалось ни копейки; не знаю, стащила ли все проклятая баба или, может быть, все осталось в Вене. Правда, кутнули вчера порядочно; было очень весело; мы с Рябининым пили брудершафт. Я пил также с Л. Прекрасная душа этот Л. и как понимает искусство! В своей последней статье он так тонко понял, что я хотел сказать своей картиной, как никто, за что я ему глубоко благодарен. Нужно бы написать маленькую вещицу, так, что-нибудь а la Клевер, и подарить ему. Да, кстати, его зовут Александр; не завтра ли его именины?

Однако бедному Рябину может прийтись очень плохо; его большая конкурсная картина еще далеко не кончена, а срок уже не за горами. Если он проболит с месяц, то не получит медали. Тогда прощай заграница! Я очень рад одному, что, как пейзажист, не соперничаю с ним, а его товарищи, должно быть, так потирают руки. И то сказать: одним местом больше. А Рябинина нельзя бросить на произвол судьбы: нужно свезти его в больницу.

Сегодня, очнувшись после многих дней беспамятства, я долго соображал, где я. Сначала даже не мог понять, что этот длинный белый сверток, лежащий перед моими глазами, мое собственное тело, обернутое одеялом. С большим трудом повернув голову направо и налево, от чего у меня зашумело в ушах, я увидел слабо освещенную длинную палату с двумя рядами постелей, на которых лежали закутанные фигуры больных, какого-то рыцаря в медных доспехах, стоявшего между больших окон с опущенными белыми шторами и оказавшегося просто огромным медным умывальником, образ спасителя в углу с слабо теплившейся лампадкой, две колоссальные кафельные печи. Услышал я тихое, прерывистое дыхание соседа, клокотавшие вздохи больного, лежавшего где-то подальше, еще чье-то мирное сопенье и богатырский храп сторожа, вероятно приставленного дежурить у постели опасного больного, который, может быть, жив, а может быть, уже и умер и лежит здесь так же, как и мы, живые.

Мы, живые... Жив, подумал я и даже прошептал это слово. И вдруг то

необыкновенно хорошее, радостное и мирное, чего я не испытывал с самого детства, нахлынуло на меня вместе с сознанием, что я далек от смерти, что впереди еще целая жизнь, которую я, наверно, сумею повернуть по-своему (о! наверно сумею), и я, хотя с трудом, повернулся на бок, поджал ноги, подложил ладонь под голову и заснул, точно так, как в детстве, когда, бывало, проснешься ночью возле спящей матери, когда в окно стучит ветер, и в трубе жалобно воет буря, и бревна дома стреляют, как из пистолета, от лютого мороза, и начнешь тихонько плакать, и боясь и желая разбудить мать, и она проснется, сквозь сон поцелует и перекрестит, и, успокоенный, свертываешься калачиком и засыпаешь с отрадой в маленькой душе. Боже мой, как я ослабел! Сегодня попробовал встать и пройти от своей кровати к кровати моего соседа напротив, какого-то студента, выздоравливающего от горячки, и едва не свалился на полдороге. Но голова поправляется скорее тела. Когда я очнулся, я почти ничего не помнил, и приходилось с трудом вспоминать даже имена близких знакомых. Теперь все вернулось, но не как прошлая действительность, а как сон. Теперь он меня не мучает, нет. Старое прошло безвозвратно.

Дедов сегодня притащил мне целый ворох газет, в которых расхваливаются мой Глухарь и его Утро. Один только Л. не похвалил меня. Впрочем, теперь это все равно. Это так далеко, далеко от меня. За Дедова я очень рад; он получил большую золотую медаль и скоро уезжает за границу. Доволен и счастлив невыразимо; лицо сияет, как масляный блин. Он спросил меня: намерен ли я конкурировать в будущем году, после того как теперь мне помешала болезнь? Нужно было видеть, как он вытаращил глаза, когда я сказал ему нет.

Серьезно?

Совершенно серьезно, ответил я.

Что же вы будете делать?

А вот посмотрю.

Он ушел от меня в совершенном недоумении.

Эти две недели я прожил в тумане, волнении, нетерпении и успокоился только сейчас, сидя в вагоне Варшавской железной дороги. Я сам себе не верю: я пенсионер академии, художник, едущий на четыре года за границу совершенствоваться в искусстве. Vivat Academia!

Но Рябинин, Рябинин! Сегодня я виделся с ним на улице, усаживаясь в карету, чтобы ехать на вокзал. Поздравляю, говорит, и меня тоже поздравьте.

С чем это?

Сейчас только выдержал экзамен в учительскую семинарию.

В учительскую семинарию!! Художник, талант! Да он пропадет, погибнет в

деревне. Ну, не сумасшедший ли это человек?

На этот раз Дедов был прав: Рябинин действительно не преуспел. Но об этом когда-нибудь после.